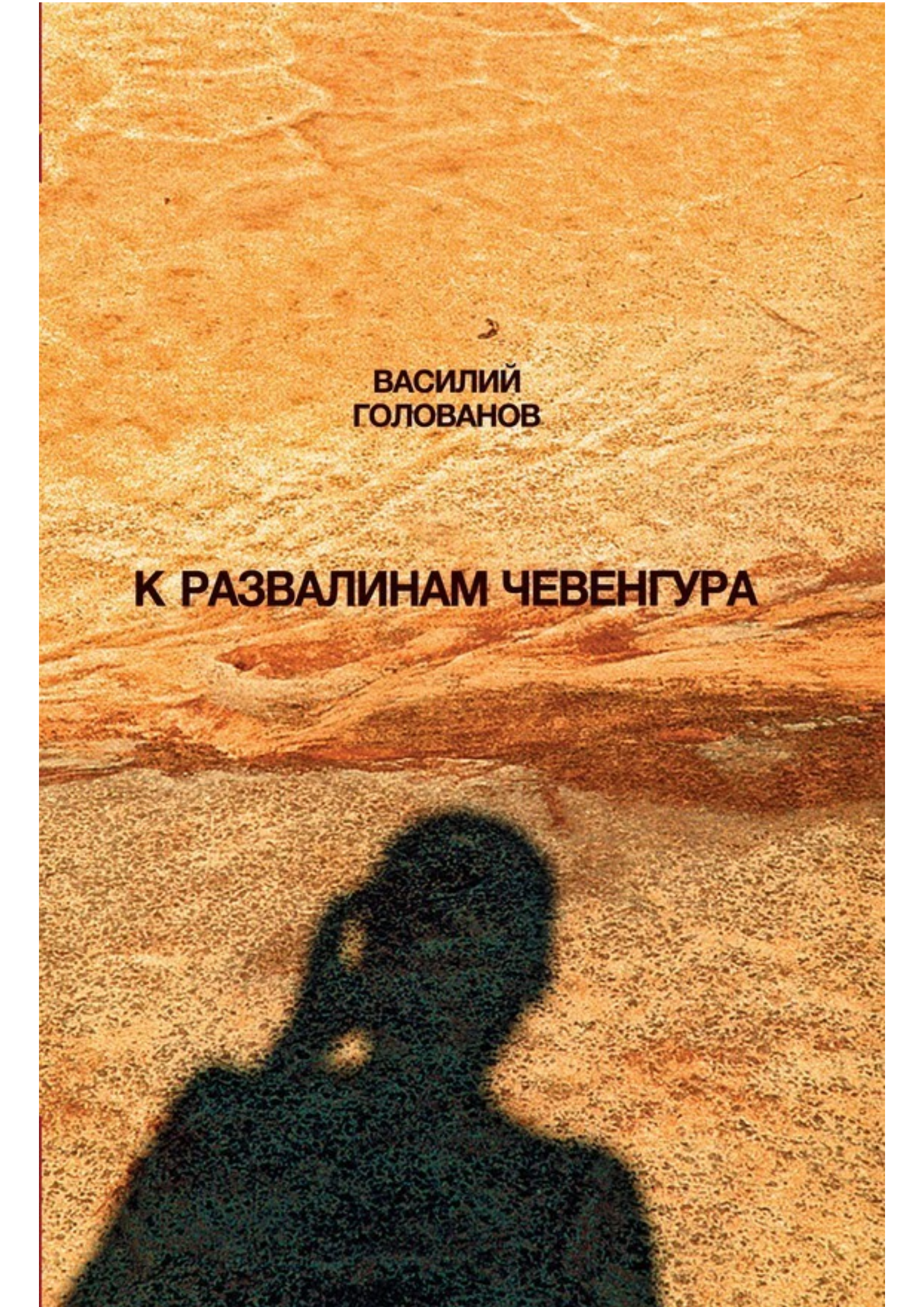


The background is a textured, orange-brown surface, possibly a wall or a piece of aged paper. In the bottom left corner, there is a dark, shadowy figure that appears to be a person or a large animal, possibly a bear, standing and looking towards the right. The figure is dark and somewhat indistinct, blending into the textured background.

**ВАСИЛИЙ
ГОЛОВАНОВ**

К РАЗВАЛИНАМ ЧЕВЕНГУРА

Василий Голованов

К развалинам Чевенгура

«НЛО»

Голованов В. Я.

К развалинам Чевенгура / В. Я. Голованов — «НЛО»,

Признанный мастер тревел-текстов Василий Голованов (р. 1960) в очередной раз предлагает читателю «путешествие с открытым сердцем» в пространстве и времени, в лабиринтах истории и человеческого духа. Сквозь патину времени проступают образы пассионариев, которые не перестают притягивать к себе внимание людей, ищущих прорыва к свободе, творчества и самостояния: великого полководца античности Александра Македонского и поэта Велимира Хлебникова, русского анархиста Михаила Бакунина и французского – Армана Гатти, нашего современника Михаила Тарковского и гения Андрея Платонова с его почти библейскими персонажами. Голованов не хочет примириться с «железным веком», все тяжелее накатывающим на любые проявления свободы духа. В разных временах и странах Голованов отыскивает людей, оставивших миру свои Послания. Эти послания, как и тексты самого Голованова, готовы открыться каждому, кто хочет вырваться за рамки удобного, комфортного, бездумного существования. Да и сам автор преисполнен такой решимости, отправляясь с друзьями-единомышленниками в фантастическую экспедицию – к развалинам Чевенгура

© Голованов В. Я.

© НЛО

Содержание

Исток	5
Хлебников и птицы	17
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Василий Голованов

К развалинам Чевенгура. Рассказы, эссе

Исток

*...Земля родины всегда принадлежит сакральной географии...
Для меня родина есть центр неисчерпаемой мифологии. Благодаря
этой мифологии мне удалось познать ее настоящую историю. Быть
может, и свою тоже...*

Мирча Элиаде. «Испытание лабиринтом»

Подбор эпитафия – подходящего ключа к словесной партитуре – занятие, столь достойное промозглого майского утра, что грозит затянуться допоздна. Листая любимые страницы, тычешься наугад и все равно попадаешь вроде бы в настроение оставшегося позади пути: грунтовой дороги, снегопада, крупного, слепого, душистого, как цвет черемухи, и, конечно, прозрачного, только что рожденного свитка воды, на котором еще не запечатлелась ни единая буква бесконечной, как и сама эта река, летописи.

Однако и эпитафием не отделаешься, ибо то, что нас интересует, обойдено словесностью. Ширь волжская совсем застила крошечную точку на карте, из точки отворяющийся ключ, исток. О Волге написано неимоверно много, но в чудовищных пластах беллетристики и специальной литературы, которую породила река, собственно о начале ее, об истоке, написано всего несколько страниц, которые не вдруг и отыщутся в толще литературных отложений. Потому и нашему современнику о начале вод известно то же, что и той первоначальной летописи, «которая знает, что Волга начинается в Оковском (Воковском, Волоковском) лесу, течет в земли булгар и хвалисов и впадает в Хволынское море «семьюдесятью жерелы» – сиречь гирлами, или рукавами.

Определяясь, где искать Оковский лес, я, признаюсь, не вдруг поставил точку на мысленной карте, и только купив атлас Тверской области, удостоверился, что искать надобно километрах в 70 к северо-западу от города Осташкова, у границы Новгородской земли, где возле деревни Волговерховье и была обозначена на карте едва заметная голубая змейка.

Желание отправиться к волжскому истоку возникло давно и было настойчиво – следовательно, насущно. И в этом можно увидеть простую иллюстрацию совершившегося поворота общественного внимания на себя, вовнутрь. Этот поворот сейчас слишком даже заметен, словно все ужаснулось сначала, увидев в неоновом космополитическом свете родину – испитую, нищую, ожесточившуюся и давно уже вдовую бабу – и бросились от нее враспынную. А потом опомнились – дело-то серьезное, уходит родина, уходит мать, сам ее запах, тихие, с детства памятные песни, сказки, которые она рассказывала, какая-то необъяснимая, невысказанная ее материнская доброта и *простота*, которой дети, собственно, наши дети, рожденные всего-то на 20—30 лет после нашего рождения, уже ни любить, ни даже почувствовать не смогут. Они – другие. Они – дети телевидения и глобальных процессов. Их образ родины – для меня жестокий постмодернизм, неумолимый, как реклама автомобилей, шоколадок, болтовня политиков или откровения «звезд». А они никак не могут понять, что меня тянет туда – в глушь, в эти опустевшие деревни с пустыми черными окнами, с провалившимися крышами, где прежних жителей осталось едва ли пять, ну – десять человек...

Все последние годы поездки в деревню были наполнены для меня горестной нежностью, будто правда ехал я напоследок повидаться с престарелыми родственниками и еще с чем-то, что потом уйдет навсегда, но что для меня было и останется самым главным в народе,

во всей нашей жизни, без чего вся великая литература наша (один из немногих даров, которые внесли мы в культуру мировую) останется непонятной для наших уже детей клинописью... И, собираясь весною к волжскому истоку, не мог забыть я последней своей – накануне осенью – поездки в деревню. Я сейчас расскажу про нее, ибо это важно. Для каждого русского человека, которому сейчас от 40 до 50 лет, это важно: таково было прошлое, таков был *завет*, таков был *исток* – мудрости, доброты, слова... И для меня каждая поездка туда, в мир уходящий и уже ушедший, была поездкой в места силы, где все достоверно. Мне трудно это объяснить, но если я скажу, что пластиковый мир порождает пластиковые чувства, слова мои, может быть, станут понятнее.

В крестьянской жизни была когда-то счастливая пора: двадцать коротких дней бабьего лета, когда, завершив вал летних работ, пускали по полям огонь, когда длинными вечерами начинались посиделки, а днем – труд ненадсадивый и приятный: уборка ульев, рубка капусты или просто сбор орехов в лесу. И как раз на эту пору, когда даже грибы и орехи уже собраны и вокруг, над озерами и в лесах, остается только беспричинная красота, которой природа наслаждается как художник, исчерпав свою полезную, плодоносную силу, и выпадает время милых крестьянину праздников: Архангела Михаила, Автонома и Корнилия, после которого всякий корень в земле только зябнет, а не растет. А 25 сентября – Малая Пречистая – богородичный престольный праздник многих деревень, не исключая и Новотроиц, где обжился мой друг, с которым не раз и не два хотели мы запечатлеть какой-нибудь деревенский праздник, сохраняющий особенности быта и фольклора, да все тянули резину, пока не ясно стало, что, если дальше тянуть, снимать-расспрашивать будет некого.

Был белый утренник. Через весь выгон один только темнел к озеру, в заиндевшие сухие тростники, след раннего рыболова. Над озером вместе с солнцем поднималось ослепительное, беспощадной осенней голубизны небо. На склоне, открытом солнечным лучам, уже клубился в чертогах травы розовый пожар: серебро инея оплавлялось дневным теплом и замирало в травах чистыми каплями. Все это вместе с красками поредевшей листвы, с тишиною того невообразимого объема, когда кажется, что слышишь парашютное паренье паутинок или по отдельности скольжение каждого листа, а уж крик сойки или ворона слышишь в самой дальней глубине леса, – все вместе это было так потрясающе, что, казалось, это и есть счастье. И самое странное, что всегда так было, с тех пор, как я помню себя. И тогда, давно, много лет назад, когда деревня еще настоящей деревней была, и сейчас, когда от деревни ничего не осталось почти, кроме памяти. И я еду в память о. В горькую память: как будто уходит что-то самое милое-близкое. Как будто бабушка умирает...

Утром постучал к соседям: две были замечательные старушки-учительницы, с которыми я с давних пор очень подружился. Помню, они мне про деревенскую школу рассказывали; про то, как в 50-е годы с учениками пешком ходили давать концерты в дом ветеранов войны... Оставшихся, значит, без родных и без крова ветеранов, доживающих жизнь свою в невероятной бедности и тихом горе. А дети стихи читали им, пели песни. Только и всего. И, помню, поразило, что инвалиды-калеки всегда выходили встречать детей очень далеко на поворот дороги и старались обязательно им припасти сухарей и обласкать. И что был один барак, где собраны были такие человеческие обломки, изуродованные железом войны, что их не решались детям показать, и так они жили сумеречно, без праздников.

Постучал. Нет ответа. Раскрыл дверь: прямо предо мной стояла Екатерина Васильевна, учительница. «Здравствуйте! С праздником!» – радостно приветствовал ее я.

– Кто тут? – кротко, но неожиданно спросила Екатерина Васильевна.

Она стояла в пяти шагах от меня. Я не сразу и понял... А потом заметил в одном глазу мутное бельмо и другой глаз – подвижный, темный, блуждая, все смотрел мимо меня. Я назвал. Она обрадовалась, предложила чаю.

– Давно вы ослепли? – Да уже года два как совсем не вижу. – Как же вы живете? – не удержался я. – Тяжело живем. Марья Васильевна почти не встает, а я не вижу...

А я думал – почему не отодвинется занавеска на окне, как бывало, когда мы приезжали прежде?! Выходит, нет для нее ни занавески, ни синего неба, ни золотого клена во дворе, ни могучих черных елей, за которыми в ясную погоду гаснет желтый закат... И закатов тоже нет. Ничего. Меня тоже. Звуки, шаги, голос. Какое-то воспоминание обо мне прежнем. Я даже не знаю какое. Она дарит мне баночку варенья – кабачков, сваренных с лимоном. Говорит, напоминает начинку пирога-лимонника. А я все пытаюсь представить себе ее мир, очерченный теперь границами стен и неподалеку раздающихся звуков утренних птиц, галок за окном, немощным шевелением сестры, музыкой радио (громкого); шагами почтальонши Маши, которая приносит воду и хлеб, и незнакомыми чужими шагами...

– Это вы? – спрашивает она всякий раз, когда я вхожу с ведрами, полными воды.

– Да.

– Тогда поставьте ведра вот сюда, – она безошибочно указывает место.

Таская воду, я не пытаюсь помочь, я пытаюсь извиниться, что ли. За фальшь жизни, которую мы ведем в городах, все стараясь успеть-преуспеть-заработать. За короткую память о них – еще живых, но забытых всеми и навсегда, как забракованный сценарий, исчерпанная тема. За то, что мы сделали... Не со страной, нет. С собой... «С праздником, дорогие мои», – говорю я, и мне кажется, что фраза звучит до ужаса фальшиво. Но им так нужно хотя бы одно ласковое, произнесенное с нежностью слово, что они прощают неполноту и робость чувства. Он великодушный и ласковый, этот бывший деревенский народ, он сам расточал ласку безмерно, бессчетно, пожизненно, пока весь не сгинул. До сих пор с глубокой болью переживают они все страшные новости, о которых слышат по радио...

Как хорошо, что в самом деле они ничего не ведают о мире, в котором мы живем!

Но ведь праздник! На улице еще ничего не происходило, но меж тем он набухал, делаясь все явственнее, как запах пирогов, которым тянуло из разных домов. Каждое суечение, перетаскивание стульев из избы в избу и уж подавно четверти прозрачного, ржаного цвета самогону – все это должно было в конце концов переполнить меру приготовлений и излиться хоть чем-нибудь, раз уж людям так нужны праздники, чтобы чувствовать себя людьми...

В час пополудни пришла автолавка, и Малая Пречистая тронулась на малых оборотах. Прилавок, как сепаратор, отделил женщин от мужчин: мужики взяли свою водку и пошли пить ее к своим строениям и механизмам. Они желали пить и забываться тихой святостью этого дня. Это женщины желали обратного – забываться и пить, и потому, собственно, путь их к Пресвятой Богородице был столь долог и изощрен – через застолье, концерт и самодеятельность. Я вспомнил празднества, которые видел на юге, армянские застолья, застолья казахов: везде присутствие семейных пар было обязательно, и только в русской деревне оставшиеся мужики пили бережно и отдельно, чтобы бедственным, потертым и изломанным видом своим неприлично не оттенять благообразия жен. Да, впрочем, замужних-то баб оставалось от силы пять человек – остальные вдовы. Всего из трех деревень, по привычке сообща справляющих престольные праздники, собралось на этот раз в Новотроицах бабок пятнадцать.

Ждали артистов.

Артисты прибыли на битом рафике¹, когда бабки уже замерзли на прозрачном осеннем ветру и стали хлюпать носами. Баянист, широколицый дед в толстых очках, оправившись с дороги, молодежато заломил картуз с вдетым в него золотым осенним цветком:

– Какой у вас, девчата, праздник?

– А у вас? – с готовностью поддались на заигрыванье бабки.

¹ Микроавтобус несуществующей более марки РАФ, предназначенный для сельской местности.

– У нас Богородица.

– Ну, значит, ничего не перепутали...

Из-за ветра пошли в избу. Пока ансамбль готовился, а бабки согласно какому-то давно заведенному чину рассаживались вдоль стены в своих «парадных» кофтах или беретах: тетя Паня да тетя Маня, баба Ганя да баба Маня, баба Лиза и красавица роковая тетка Татьяна, четыре дачницы и баба Феня – матриарх деревни, настоящая солдатская вдова, у которой муж погиб еще в войну², так что его из нынешних «бабок» и не помнит никто – малы были. И тут выяснилось, что скрывать никому нечего, ибо праздник – он и есть исповедь претерпевающего человека, его посильная радость и приоткрытая боль. И тут грянул ансамбль первую вместе с бабками, так что вся изба застонала, как гармонь:

Напилася я пьяна...

Пронзительно защемило в груди – не от того, что пели они особенно или хорошо, а от моментального чувства слитности всех со всеми, которая возникает от способности сердца мгновенно открываться навстречу переживанию. Вся беда этой непутевой девицы, что напилася допьяна, потеряв милого, каждым здесь переживалась как личная. Там, в песне, девушка в самоотречении желает милому счастья, где б он ни был. Буквально: «Если с любушкой на постелюшке – помоги ему, Боже». И в этом месте некоторые бабки вслед за гармонистом удало притопывали: «помоги», а другие тихо, почти про себя, противоречили: «накажи его». И такое проглядывало сквозь это разночтение разнообразие судеб, столкновение и крушение стольких – и всем знакомых здесь – обстоятельств, что становилось ясно, отчего так пронзительны песни там, где они – сама жизнь, а не эстрадный шлягер и не бельканто.

2

Чудо свершилось мгновенно, чудо преображения: разлилась теплота человечности и радость праздника, который все-таки настал, как время исповеди, позволив бабкам то страдать, то радоваться всласть. И не расскажешь о лицах собравшейся аудитории, потому что такие лица, такие восторженные и наивные одновременно, бывают только у детей, а здесь то же выражение доверчивого восторга накладывалось на иссеченные морщинами черты и глаза женщин, которые почти весь свой век прожили, сработались почти вконец, все прошли и все, что имели, потеряли – а вот, будто и не теряли вовсе:

Хорошо траву косить, которая волнуется.

Хорошо девку любить, которая целуется...

Престарелый гармонист разваливает гармонь и в октаву басам тенором заводит частушки. Тут бы в ответ ему парням вступить, деревенским остроумцам и охальникам, да так, чтоб дети от охальства затаивались на печи, а неукротимые мужики верней находили повод для драки. Но ведь ни парней, ни одного, даже упившегося, мужика за столом! Только память. Память о том, как было, когда была жизнь. Гармонь впустую пропиликала пару частушечных колен, но тут уж тетя Паня, опустив долу глаза, отворилась скороговорочкой:

Молодая я была – всегда давала за дрова,

Когда давала, то и думала: не дорого дала...

Бабки вздохнули от лихости, а баба Лиза тут же врезалась, как гром обрушилась, сверкнув ярким глазом и железным зубом:

² «Война» – долгое время в народе этим словом называлась только одна – 1941—1945 гг.

Я гуляла-топала, по ширинке хлопала,
Думала, что пятаки – а это яйца таки...

Бабки завизжали словно девки, застигнутые в бане парнями, и понесло их в Пречистую Бога Мать через всю их лихую молодость, войну, колхозные трудовни, слезы об умерших мужьях и детях и все несбывшиеся надежды...

Медсестра за перегородкой измеряла кому-то давление. Сцену снимал корреспондент местного телевидения, как зримое проявление заботы. Я ж пристроился к тете Пানে поближе – послушать разговор.

– Я перед дочерью-то каялась: прости, говорю, что у тебя детства не было... Я ведь телятницей была, ее с собой водила, а у каждой телятницы в колхозе было по тридцать коров да три дойки...

Я стал высчитывать, сколько нужно времени, чтоб трижды тридцать подоить коров, но получалась какая-то ни с чем не сообразная цифра в 23,5 часа, которую тетя Паня обсмеяла: «Я ж аппаратом доила, миленькой... Рукам разве столько надоишь? Рукам летом доила на пастбище тех, кто поздно отеливши – так десяток ли будет за два часа?»

И вдруг, как о счастье каком-то, вспомнила, как распек ее директор колхоза Охотин за то, что не положили хвою в корм коровам. «“Клади, – кричал, – партбилет на стол!” – А потому, что все было: корма, транспортер, дрожжи варили, солому парили, хвою эту мололи, отруби заваривали – но и надаивали по три тысячи! А сейчас как увижу эти развалины в окно – глаза б не видели, скорей бы рухнуло все и заросло!»

Не суди меня, девчата, что я с песни
сбилась,
Я на курсы не ходила, в школе не училась! —

низким хриплым голосом проорала баба Лиза, несколько раз запускаясь было в пляс, но тут приметившая, что за столом уже некоторое время присутствует ее муж, по-видимому, явившийся к бабьему столу от истощения у мужского меньшинства хмельного продукта.

– Мишенька, – сорванным голосом позвала баба Лиза. – Ты как здесь, родной, оказался-то?

Баба Лиза проработала телятницей на ферме тридцать лет. Это самая нежная, почти материнская животноводческая работа. А муж ее Миша был лучшим в деревне механиком. Про них даже в газете писали, в смысле: трудовая семья. Дядя Миша и сейчас всякие механизмы и в особенности бензопилы выправляет досконально; но речь трудная у него, невнятная, быстрая, внюхивающаяся и хрюкающая, как у ежика, внезапно извлеченного на свет из норки. Не ответив на вопрос жены, дядя Миша стал в меня внюхиваться и урчать, протягивая пустой стаканчик. Я налил ржаного самогону. Баба Феня, острым взглядом бригадирши оценив ситуацию, сделала знак подойти: «Не наливал бы ты ему, он пьяный нехороший». И такая в этих словах прозвучала материнская нежность, что я понял, что переживает старуха за дядю Мишу – не за меня. Дядя Миша и впрямь, скошенный самогоном, все ниже склонял голову на плаху стола и не видел уже ничего, уходя, как в норку, во тьму забвения Малой Пречистой и не слыша ни зовов жены своей, ни песни про дуб да рябину, которую я не припомню, чтоб где-нибудь с такой горечью, с такой слезой еще пели одинокие женщины...

Может показаться, что все это никакого отношения к поездке на волжский исток не имеет. Но я оговаривался уже, что исток – это еще и завет, и слово, и тот *достоверный мир*, который всегда излечивал меня от всех недугов. Бывают ведь совпадения личного плана. В

поездку меня вышвырнуло напором обстоятельств, справиться с которыми я сам уже не мог. Я отправлялся к истоку в глубоком разладе с самим собой и с близкими. Что-то в самом деле происходило то ли с миром, то ли со мной. И было желание почти буквальное: добраться до начала начал и прикоснуться... Потому что каждый исток, а тем более такой – это изливающаяся на поверхность сила. От великого избытка, как песня, рождается река, и казалось почти естественным, что даже там, у истока, где она совсем еще мала, можно от ее избытка отчерпнуть – и силы ее не убудет, если ты в своей человеческой малости преклонишь колена и отопьешь. Попьешь немного живой ее водицы. И, подкрепившись таким образом, распу-таешься наконец и с собой, и с миром.

Таковы были мои внутренние обстоятельства. Но в машине в результате оказалось нас четверо: поэтесса и писательница Таня Щербина, мой друг фотограф Александр Тягны-Рядно, моя восьмилетняя дочь Саша и я. Был канун Первомайских праздников. Москва, как гигантский вулкан, объятый завесой пепла, волна за волной исторгала из себя лавовые потоки скрежещущих автомобилей. Час мы выскребались из Москвы. Еще два добирались до Клина, где стокилометровая пробка начала помаленьку рассасываться.

Разумеется, у каждого из нас было вполне рациональное, ничуть не менее логичное, чем у меня, объяснение, почему это ему взбрело в голову ехать к истоку Волги. Но, как выяснилось по мере нашего продвижения, у каждого была еще причина своя, особая, связанная с рекой такими глубокими личными отношениями, что этому, особенно в наши дни, невозможно было не удивиться. Я, разумеется, умственно «понимал», что Волга для всех обитателей российских пространств, живущих по эту сторону Уральских гор, – это универсальный символ огромного напряжения, с которым связано все – время вообще, история, личная история, детство, зрелость, смерть («...издалека долго // течет река Волга...»), размежевание родного пространства и даже его сочленение с пространствами неродными и весьма отдаленными. Но то, что все мы, и мои попутчики тоже, окажемся повязанными с рекой неразрывными родственными узами, словно это не река и не вода, а кровь и кровеносная жила, было по-настоящему поразительно узнать.

Но ведь папоротники детства не вдруг прошелестели. И было детство. Счастливое. Прекрасная девочка Таня. И мир – прекрасный и незыблемый. Только потом стало ясно, что все висело на волоске – все-таки бабушка тяжело болела, уже случались с нею обмороки, пугающие взрослых. Но что может знать маленькая девочка об утратах, грядущих, как обещание праздника? Бабушка купила билеты на теплоход. Два билета. Себе и внучке. Никто не имел решимости воспротивиться – и они поплыли. До Астрахани. По Волге. Это была волшебная страна. Бабушка подолгу стояла на прогулочной палубе, вглядываясь в очертания берегов, в прекрасные воды. Бывало, что ей делалось плохо – но, как всегда, ничего серьезного не происходило. Ибо что может знать маленькая девочка, живущая под покровом бабушкиной любви, о грозных предвестниках?

Вскоре после возвращения из путешествия бабушка умерла. Следом за нею умер и дед. Мир рухнул. Детство кончилось. Но Волга – последний бабушкин дар – осталась.

Потом девочка прожила еще несколько все более взрослых жизней. Одна из них, длиною в восемь лет, пришлась на Париж и была тоже и полной, и счастливой. И вот на излете этой жизни Таня Щербина – уже парижанка – снова оказалась ненадолго на родине, в Москве, с тем чтобы сопроводить группу своих новых компатриотов, французов, в поездке по Волге на теплоходе.

– Понимаешь, мы плыли по тому же маршруту, останавливались в тех же городах, что и тогда, с бабушкой. В городах, которые я запомнила, как сказку. Я ничего не узнавала. А то, что видела, было ужасно. Углич. На пристани пьяные женщины продают часы местного завода «Чайка». Толкаются, дерутся: «Ты куда вперед лезешь, б...?» Строения. Обшарпанность – это не то слово. И убожество – не то. Убитость. Я была в ужасе, в настоящем ужасе.

Я не знала, куда бежать из этого кошмара. Но интересно, что именно после этой поездки я вдруг приняла решение вернуться в Россию. Навсегда.

– Почему? – спросил я.

Был третий час вальпургиевой ночи, ночи с 30 апреля на 1 мая. Сатана уже собрал всю свою нечисть на далекой Броккенской горе, путая мысли и чувства, месил дождь с туманом, мешая становлению дружной весны. В холле тверской гостиницы «Волга» плавал остывший табачный дым.

– Потому, что свои плюсы и минусы есть везде. Но на наши минусы у тебя наработана защита, нормальная эмоциональная реакция. А там всегда есть то, к чему ты не привыкнешь никогда.

Я сто раз слышал об этом и никогда толком не понимал, что имеется в виду.

– Для этого нужно влюбиться. Там.

– Знаете что? – произносит Тягны-Рядно, которому надоело слушать нашу болтовню. – По-моему, вы все страшно преувеличиваете...

– Приуменьшаем.

– Но ведь, в конце концов, – говорит он Татьяне, – мы с тобой тоже встретились... там...

Дорога – это жизнь. Новая жизнь, сразу набело. Мгновенное обживание новых ситуаций, короткие знакомства и столь же безболезненные расставания и, наконец, самое странное чувство: *deja vu* – совершенно подлинного узнавания, когда на набережной в Твери или в Торжке вдруг взглянешь на какой-нибудь дом и почувствуешь, что, конечно, его уже видел, а может быть, даже в этом доме жил и был счастлив – совсем иначе, нежели сейчас, но, может быть, даже проще и лучше... Цветы на окне, занавесочки кисеей, кошка... Вот из этой двери я бы выходил поутру. Кем? Учителем французского языка уездной гимназии или преподавателем географии губернского университета? О, я был бы краеведом, возил бы своих студентов на раскопки, в фольклорные экспедиции. У меня была бы клеенчатая тетрадь с рукописью незаконченного «романа», лодка на Волге, прекрасная библиотека из подшивок позабытых ныне газет, журналов и книг. И утра в моем доме были бы прохладные и чистые, как натюрморты Петрова-Водкина...

Продвинутые психологи утверждают, что чувство *deja vu* появляется, когда человек оказывается на перекрестке, в «точке выбора», и от того, что он предпримет в следующий момент, может зависеть вся его жизнь...

Что-то подобное случилось со мною лет за десять до этого, в Торжке как раз. Я приехал сюда к священнику Владиславу Свешникову писать о нем материал, а получилось, что мы все время говорили о Боге. Его духовный сын Саша тогда работал в церкви истопником; вставал в четыре, уходил в темное льдистое мартовское утро, возвращался, пахнущий угольным дымом, но он казался мне самым счастливым человеком на свете, потому что у него был Бог, а больше ничего не было. Никаких мелочей, ничего лишнего не было, только самое главное – Бог. А у меня только лишнее и было: ненужные отношения, работа ненужная, ненужный дом, где я ненужно жил... А Бога не было, и никакой надежды не было... И вот в церковной ограде, когда ветер качнул мартовские липы и галки стаей закружились над церковными куполами, – помню, было оно, это пронзительное чувство, что – вот! это! – я его знаю, этот исток жизни, и если только вспомню хорошенько, где он, то уж, верно, буду знать, как жить...

Я тогда тоже искал исток, но ничего не нашел, и ровно через неделю жизнь моя улетела под откос...

– Что это? Что это?!

В темноте на дороге или над нею вдруг возникают огненные полосы. Автомобиль летит на них, и они то свиваются, будто раскаленные ленты, то вдруг делаются совсем прозрачными.

Река?!

Оказывается, это свет фар играет в проводах.

Пространство непомерно, оно налетает из тьмы, как ветер, песчинка за песчинкой выдувая знакомые образы из привычной картины мира – нет больше ни придорожных кафе, ни чайных для дальнобойщиков, ни нужной нам марки бензина, ни панельных домов, ни заводских складов – только темный лес по краям дороги да столбики километров. И как оглядывали нас в убийственно скучном ресторане какого-то крошечного районного городка, в котором мы в конце целого дня пути остановились поужинать: наши лица, наше обличье кажутся странными здесь. «Москвичи». Примерно с той же интонацией, как мы в детстве говорили: «иностранцы». Без неприязни, но настороженно. Или неприязнь все-таки была? Сейчас уже не помню.

Бывают минуты, когда кажется, что ты в космосе, что вырвался наконец из «цивилизации» и всех тех отношений, которые ею порождены, попал в чистое, необезображенное, истинное пространство. Потом в самой глуши темного ночного леса видишь несколько домов, десяток автомобилей с московскими номерами, помойку и понимаешь, что все нормально, мир не даст тебе выпасть никуда. Да и куда ты, дурачок, убежишь от мира на автомобиле?!

Фигура старушки в белом платочке появляется именно в тот момент, когда клинит заднее колесо и мы оказываемся совершенно беспомощными перед этой поломкой, тьмой, холодом, плеском невидимой ночью близкой промозглой волны, ветром и отсутствием крыши над головой.

– Квартуру ищите? – спрашивает добрая волшебная старушка.

Квартуру? Как?! Ну конечно...

Через полчаса мы уже ужинаем в прекрасной, хоть и холодноватой, для приезжих обставленной квартире на третьем этаже блочного дома, из окна которой утром видно озеро Селигер. Я открываю пиво, набиваю трубку и вместе с друзьями медленно ухожу в ночь. К середине ночи появляется ощущение, что мы все-таки вырвались. В окно видна луна и быстро бегущие по небу тучи.

Едва сворачиваешь с шоссе на проселок, ведущий в глубь того самого Оковского леса, что оберегает собою исток Волги, как тебя охватывает необыкновенное чувство подлинности, вневременности пейзажа. И тут дело не только в весне, в очень нежной еще тонировке того, что станет потом сплошной, непроглядной лиственной завесой, не в контрасте нежных, прозрачных, будто стеклянных молодых листочков ольхи или березы и темных, косматых еловых бород, но и в самой проселочной дороге. В дороге, сохранившей свою изначальную суть, свою многомерность, не до конца подчинившейся автомобилю. Не служащей ему одному только нитке асфальта, призванной удовлетворить его притязания на наивысшую скорость и комфорт. Дорога причудливо петляла, поднимаясь, как ей и положено, вверх и ныряя вниз, и ничего не было проще, чем представить себе на ней и пешего, и конного, и почтальона на велосипеде, и инока, торопящегося успеть в свою обитель к вечерней службе.

Еще в Твери мы слышали, что волжское первоначало заповедано и на машинах туда нельзя. И я, помню, даже подумал, что правильно. Если ты едешь к истоку, как ты полагаешь, Родины, к ключу, слабому еще, как младенец, и в то же время к ключу ото всего русского мифа, то будь добр, сойди на землю и пройди хоть немного пешком, как подобает паломнику. А если просто любопытствуешь – то тем более, земля не все стерпит, поступай по предписанию. Но только в лесу стало все окончательно понятно (и я подумал о мудрости хранителя): ничто так не унижает святыню, как автомобиль. Ничто так не равнодушно к ней, ничто не испытывает перед нею большего самодовольства. А сюда с самодовольством нельзя. Нельзя с железным блеском в глазах и с пламенным мотором вместо сердца. Людям – можно всем.

Всяким. Даже таким, как мы, столичным жителям, запутавшимся и даже скверным, – можно. А автомобилю – нельзя.

Я все ждал, что за очередным поворотом поджидает нас шлагбаум и пространство для парковки, но дорога вилась себе и вилась, и никакая стража не заступала нам путь. Это было удивительно. Потому что, как это ни странно покажется, каждый из нас от предстоящей встречи ждал одного: увидеть *хранителя*. Хранителя истока. Потому что казалось совершенно естественным, что раз есть ключ, который отверзает воду самой большой реки на всем пространстве Европы (и он же – волшебный мифологический ключ), то при нем должен быть и ключник с ключами от ключа, хранитель бессонный и бессменный. Это совершенно сообразно законам волшебного мира, в котором такие вещи, как истоки великих рек, не могут быть просто так, без стража, без святого подвижника, который не давал бы заму- тить исток и соблюдал бы чистоту места.

И то, что я в Москве слышал о *каких-то старухах*, которые ходят из разных деревень, чтобы блюсти чистоту ключа, в общем в эти представления вписывалось, и я даже очень хорошо представлял себе этих старух, хотя, кажется, читал, что их не много, а всего одна. И вот – увидеть ее было важно. Потому что больше всего на свете я люблю старых интелли- гентов и деревенских стариков, на которых лежит глубокий отпечаток старой, дореволюци- онной еще культуры, последние проявления которой я еще застал. Эти старики – сами как исток, люди незамутненной души. Нас больше, мы прем, как талая вода, мы сильнее, но мы никогда не будем так чисты, как исток, как люди истока.

В Твери выяснилось, что хранительница истока, Нина Андреевна, давным-давно померла, а дело принял некий человек из Питера, Сергей, который, как и положено, попал однажды к истоку, припал и не смог уже оторваться, отреставрировал церковь, построил дом... Обозначилась судьба, замерещилась тема. Поэтому Сергея-то я и ждал в первую оче- редь встретить за поворотом лесной дороги. Но вот уж мелькнул указатель «Волговерховье», справа обозначился храм – и вдоль мокрой от талого снега улицы несколько взъерошенных изб. Никто нам путь не преградил, и мы, выходит, приехали...

Дул сильный ветер. По ветру крупные, как лепестки черемухи, снежинки летели почти параллельно земле. Я увидел бредущую по улице фигуру, побежал. Думал, мужик, оказалось – женщина, обвязанная платками. Спросил про Сергея.

– Так он уехал. Был, но уехал. Вообще эту зиму не зимовал...

– А кто же тогда следит за истоком? – изумился я.

– А во-он, – показала женщина на фигуру пожилого мужчины, быстро погоняющего небольшое стадо в облаке снега. – Анатолий Григорьевич. Только громче ему кричите, он слы- шит плохо...

– Анатолий Григорьевич! Анатолий Григорьевич! – закричал я, бросаясь ему напере- рез, потому что показалось, что и он сейчас уйдет туда, куда потянулось стадо, – в зеленые, давно не паханные поля, в глухие водораздельные леса, в *Новгородчину*, вон за ту вершинку, откуда уже все реки не в Волгу текут, а в Ильмень-озеро...

Он остановился. Пиджак из искусственной кожи не слишком-то, конечно, грел его; щеки румянились от мороза. Выслушал нас.

– Хорошо, я приду на исток, только кнут домой отнесу да ключ возьму...

Вот оно с хранителем истока как все обернулось; а вместе с тем ничего не поделаешь, только это правда и есть, ибо та женщина, о которой я читал когда-то, Нина Андреевна Поля- кова, она уж двадцать лет как умерла, Сергей из Питера оказался обычным временщиком, который, конечно, сам себя мнит в ореоле истока, однако ж отсутствует; а ключ от ключа бессменно держит повстречавшийся нам глуховатый пенсионер, он же пастух и продавец местного сельпо Анатолий Григорьевич Марсов.

По ощущению исток Волги не есть око и ключ. Ключ, который в старое время звал народ «Иорданом», таится на дне болотца, и «ключ от истока» – железный ключ с самодельным деревянным брелоком – выполняет скорее декоративную. Потому что настил и часовенка на нем с обязательным образком Николая Угодника и пробитым в полу отверстием, символизирующим как раз родник, поставлены на сваях над болотцем, образовавшимся у опушки леса. Здесь всяческая лесная влага собирается-собирается и наконец, достигнув критической массы, пускается в самостоятельное течение. Таких истоков в окрестных лесах – тысячи, вокруг пространство совершенно необыкновенное – родина воды. Здесь вся земля сочится водою на три стороны света (есть места, где верховья притоков Волги, Днепра и Западной Двины разделяет всего несколько сот метров). Особенно по весне, когда облепленные седым лишайником стволы осин стоят посреди талой воды, будто колонны какого-то исполинского святилища, и вся земля, напитанная водою, журчит, хлопает, пузырится зеленоватой лягушачьей икрой, пуская в лужи отражения синего неба и белых облаков, из которых поднимаются вверх деревья, лес, Лес-Отец-Вод, порождающий все эти «волго», «пено», «вологод», «болого»... Когда в конце прошлого века профессор П.Е. Белявский решил научно выяснить, где находится исток Волги, то обнаружил, что теоретически на роль истока могли бы претендовать несколько ручьев. Но народ упорно и единодушно считал истоком только один – «Иордан». И непонятно почему. Вроде бы ничего особенного. Вокруг – самая обычная заросль, ива, ольха, краснотал, осока, затопленные кусты, березовый лист на дне... И все же с этим единогласным выбором приходится, конечно, считаться.

Видел, как две девочки зашли в часовню и в отверстие над родником бросили свернутую записку: «сбудется». Видел, как люди умываются – «чистым становишься» – и обязательно пьют воду. Я тоже, как и хотел, напился темной, на осеннем листе настоящей волжской воды. Подошла дочь, тоже попила. Потом сказала: «там в одном месте Волгу можно перепрыгнуть с камня на камень. Пойдем, я перепрыгну, а ты сфотографируешь. Бабушка с ума сойдет!»

До этого она видела Волгу только у бабушки, в Саратове. Она связала в уме две точки невообразимого для восьмилетнего ребенка пространства, не подозревая еще, что этими изначальными водами связано все – и жемчужная нитка поволжских городов, каждый из которых гордится *своею* набережной; и огромная территория, на которой и Шексна, и Ока, и Белая, и Чусовая – лишь ветви одного исполинского ствола; и фигуры орнаментов, передающиеся от мари к мордве и затем уж подхваченные русскими; и мелодические ходы, которые многие наши напевы так роднят с башкирскими или с татарскими; и вся история наша – и летописная, и долетописная даже, – дошедшая до наших дней смутными отголосками о волнообразном истечении народов из Азии на запад через Великие Ворота между Уралом и Каспием. Тут не одна история, а несколько исторических эпох, безвозвратно позабытых, только и связаны, что названием этой реки – Ра, А-Рас, Итиль, Идель, Иуль, Волга...

Должно быть, сознание мое (осознающее это величие) не вполне примирялось с тем, из какой малости рождается Волга. Но в том и заключалась правда, что другого ничего не было: часовенка над болотом, церковь на холме, пасущийся на зеленом склоне черный конь, смятые ветром березы... Только потом, когда мы с дочкой вдвоем пошли вдоль ручья Волги, согнанные с настила группой подъехавших туристов, я вдруг испытал щемящую нежность к этой новорожденной воде. Такая это была чудесная, прозрачная, полная солнца вода, такое вокруг царило чистое весеннее младенчество мира, что захотелось вновь преклонить колени, умыться, испить, позвать ее: «Волга, детка...»

Здесь начало, укромная чаша, заповедные дремучие леса, «дорог автомобильных дальше нет, только конные». Вот отсюда она и пойдет, пойдет, разольется, наберет силу, чтобы одолеть все ужасы, устроенные на ее пути современным человечеством, одолеет – и

неостановимой сверкающей лавой, разделившись на множество рукавов, подобно коннице Чингисхана, устремится к Каспийскому морю, пробивая раскаленные пустынные пески, оставляя по бокам, в ильменах, столько воды, что сама пустыня станет похожа на амазонские джунгли...

Но это там, за тридевять земель. А начало всему этому – здесь, в этой малости. И вся сила – в этой вот слабости. И все величие будущее – пылающие на солнце зеркала вод до горизонта – оно начинается под сводами этой часовенки над болотцем...

– Ну что, я закрываю? – Анатолий Григорьевич, поглядев на синюю снеговую тучу, встающую над лесом, поежился в своем скрипучем пиджачке.

– Да, пожалуй... – я готов был уходить.

– Пап, а ты разве ничего не будешь писать? – вдруг спросила меня дочь Саша.

– Где?

– На доске (что-то вроде «доски отзывов» было еще на настиле позади часовни).

– Нет, не буду.

– Тогда дай мне ручку.

Я недаром говорил, что у каждого из нас помимо очевидного был еще и другой, настоящему значимый повод отправиться к волжскому истоку. Я хотел спастись, обрести если не твердую почву, так хоть воду под ногами. А дочь? Много лет она слушала мои рассказы о дальних поездках, о таежных реках, о тундре, о северных островах... Она научилась верить, что там-то и начинается *настоящая жизнь*, жизнь, которую стоит жить... Но она не верила, до последней минуты, я видел, не верила, что когда-нибудь я возьму ее с собой *туда*. Да и сам я был полон сомнений, потому что если бы в результате нашей поездки она сказала: «знаешь, пап, мне не понравилось, все это скучота и ерунда», то я был бы убит на месте. Это значило бы, что как отец я проиграл. Ибо своим примером ни в чем не убедил ее.

На «доске отзывов» она написала, что еще никогда в жизни не видела такой красивой Волги. Когда она сказала мне об этом, я понял, что во веки веков я оправдан и спасен.

Ветер ударил, и опять косо полетел снег. В приглушенном сумраке ненастья по мокрой деревенской улице прошествовало стадо: четыре коровы да с десятков, наверно, овец. Навстречу стаду двигался человек. Я заметил его давно, едва только мы въехали в деревню: это был сухонький седобородый старик в солдатских штанах, меховой душегрейке и старой шляпе, которая от многократного изменения форм стала походить на ковбойскую. Тогда он стоял у ограды, а теперь сам шел навстречу, причем по особой решительности шага легко было понять, что идет он в магазин за водкой.

– О Волга! Родина! Я твой должник! – вскричал дед, приблизившись, и вскоре выяснилось, что говорит он только стихами, или, вернее, ритмической прозой – «с тех пор, как напрямую с Богом...»

В общем, история вышла обыкновенная: чтоб не держать Анатолия Григорьевича понапрасну в магазине, который он хранил так же неукоснительно, как и исток, мы взяли бутылку водки, закуску и отправились в избу к боговдохновенному деду Вене.

Анатолий Григорьевич рассказывал, что народу в деревне осталось постоянных восемь человек, поля не паханы шесть лет, сыновья разъехались... Вспоминал он и какого-то князя, который, прибыв впервые из Франции в Россию, был привезен в эти места и, увидев исток, попросился побыть один – и пропал. Когда через четыре дня, к радости и ужасу тех, кто сопровождал его, он вышел из лесу, он был неузнаваем и на попытки выяснить, что с ним приключилось, закричал: «Не трогайте меня! Не приближайтесь! Я – русский человек!»

Мы чокались, пили за князя, дед Веня вскакивал и обнимал Тягны-Рядно: «Родной! Оставайся со мной на неделю! Оставайся со мною пить! Я один живу! Я скажу тебе истину...» Но истину не говорил, а вдруг начинал прихлопывать и заводить удало:

Я гулял недели две – лопнуло терпенье,
И решил жениться я в это ж воскресенье.
Но с женщиной всю жись потом
не развязаться,
Она ж все время мне под бок: «Пойдем,
чтоб расписаться!»

Но и рассказ потешный про женитьбу тоже все никак не мог довести он до конца – должно быть, от избытка чувств. А я сидел, вдыхал ни с чем не сравнимый запах деревенской избы и думал, что старик этот поразительно похож на другого, ныне уже покойного старика, дядю Колю, которого знал я в своих деревенских странствиях – только дядя Коля воевал, а этот в войну еще мальчишкой был, как мой отец. И еще я подумал, что ищу всегда одно и то же, как говорят киношники, «уходящую натуру» – как раз таких вот людей, которых наш век и наша земля уже не родит. И не успокаиваюсь, пока не найду. С некоторых пор этого (сразу и вдруг) почти не стало: людей таких, домов таких, утвари, старых, сильно прорисованных карандашом фотографий, мыслей *таких*, чувств *таких*. Мир изменился необычайно быстро, и эти вот старики – последние носители того крестьянского понимания жизни, которое в полной мере присуще было их отцам и дедам. Конечно, до дедов им далеко, но все же и на них лежит еще отблеск их света, их *истины*.

Стали прощаться. Лицо деда Вени, осененное пьяным вдохновением и глубочайшим знанием истины – истины о красоте и святости мира, о прекрасности жизни любой, – было воистину величественно. Соседи посмеивались, глядя на наше прощанье, но я подумал, что нет смысла обманывать себя: таких людей я люблю больше всего на свете и буду любить, хоть это и несовременно, и глупо. Буду любить, как последних живых персонажей русской классической литературы, запоздало задержавшихся в мире. Буду любить потому, что эти люди чисты, как вода истока. И неизвестно еще, что больше надо оберегать – исток или души этого исчезающего человечества, которому ведома еще истина, хоть и не может быть вымолвлена...

– Люди! – вскричал дед Веня, когда мы погрузились в машину. – Я не спрашиваю, какой судьбы вы, какой фамилии, есть только истина, и истина – свобода, и вы должны это понять, чтобы спастись...

Так вот оно в чем дело! «Спастись...» Не в первый раз мелькает это слово. Мы все, выходит, ехали к волжскому истоку ради спасения? А может, правда? Ведь каждый спасся. И каждый получил то, что хотел. Конечно, многое приходилось просто претерпевать. Но каждый ведь не с пустою душой вернулся домой, каждый нашел что-то? Образ. Миф. Свободу. Может быть, даже получил импульс, начало *движения* новой жизни, новой работы, которое подобно течению реки. Возможно, это движение, эта работа уже начались и все мы – сами того не ведая – делаем ее: заново пишем сакральную географию своей родины. Ведь мы утратили не только боеголовки и жуткие рутинные производства, на которых держалась наша промышленность, – мы утратили сам поэтический образ своей земли. А без мифа земля обморочна и безъязыка. Она не оживлена и подлежит забвению. И никакими усилиями, даже понимая это, миф о родной земле нельзя «декретировать», насадить и привить в приказном порядке. Он должен родиться из неистового усилия выжить и «спастись»; из надежд, *déjà vu*, паломничеств и безумных пророчеств; из фотографий, картин и фильмов, труда крестьянина на земле и самоотверженного корпения над горами позабытых книг и сочинительства невообразимых географических метафизик, в которых проступает новое лицо России третьего тысячелетия.

Хлебников и птицы

*...Мое мнение о стихах сводится к напоминанию о родстве стиха
и стихии...*

Велимир Хлебников

I

Есть письма и люди, понять которых невозможно, не разглядев некоторые весьма истонченные временем нити окружающего их контекста. Степень расширения контекста неограниченна и зависит от желания и умения интерпретатора работать со специфическими косвенными свидетельствами, содержащими иногда лишь пыль драгоценного знания о предмете исследования.

Нечаянно контекстом оказался остров. Небольшой заповедный остров, со всех сторон охваченный медлительными мутными водами. Заросший по окоему ивами, шиповником и гребенщиком, внутри – тростником, жесткой, как жезл, травой, полынью, коноплей, выюнками. Был исход осени. Днем в пещеристой сердцевине разваленных временем древних ив роились осы, радуясь последнему солнцу. Ночью, в *час шепота ив*, под холодными безмолвными звездами шелесты тростника и гулкие всплески сомов в черной воде казались шорохами и пульсациями космоса.

Ночь, полная созвездий,
Какой судьбы, каких известий
Ты широко сияешь, книга?
Свободы или ига?
Какой прочесть мне должно жребий
На полночь широкому небу?

Текст – стихотворение Хлебникова – проклюнулся сам собою из контекста, что показалось закономерным: остров принадлежал месту встречи Волги и Каспия-моря, которому «принадлежал» и Хлебников, по своей человеческой воле впадавший то в Неву, то в Днепр, то в Горынь, но волею судьбы от рожденья до смерти влекомый мощным течением Волги к чаше Каспия. И этой чашей замороженный. Ибо в ней, как в волшебном котле, до поры покрытом кипящим туманом, поэт, сдунув завесу, провидит мир насквозь: от заледенелых тундр Сибири, где жаворонок ночует в просторном черепе мамонта, до калмыцких степей, где кочевники пьют черную водку *бозо*, от заброшенных храмов Индии, оплетенных корнями джунглей, до алых цветов в садах Персии и раскаленных песков Египта, сжимающих букет пышной растительности, распутившийся дельтой Нила. Котел Каспия – это чечевица, линза, в фокусе которой как лучи или как траектории птичьих перелетов, соединяющих Север с Югом, сходятся силовые линии множества культур. Каждая из которых, даже забытая, погребенная песком пустыни, как столица хазар Итиль, или столица Золотой Орды Сарай, или вообще ничем вещественным не явленный, только в предании сохранившийся разбойничий устрел Разина, ждет своего воплощения в слове, ждет гения, способного облечь словом и выразить все это напластованное друг на друга разнообразие исторических обстоятельств, природных форм, живых и мертвых языков, преданий и символов.

«Я был спрятанным сокровищем, и Я желал быть узанным, посему Я сотворил мир», – говорит Господь суфиев. Подразумевая, должно быть, тем самым, что богопознанием

станет бесконечное распаковывание запечатанных в мире смыслов, раскапывание драгоценных кладов, предназначенных каждому, кто окажется достаточно упорным, чтобы искать. Не поместив себя сознательно в систему координат, которой принадлежал поэт, невозможно составить представление о сокровищах, которые были ему завещаны. Вот почему контекстом, непременно для понимания Хлебникова, становится само пространство, содержащее в себе все, из чего лепятся (Хлебников именно лепил, ничего не выдумывая) его стихи и проза, его «законы времени» и словотворчество, которое может казаться совершенно искусственной, головной выдумкой, но которое тоже не есть выдумка, а лишь проекция динамических свойств пространства на язык. В мире нет более изменчивых природных систем, чем дельты больших рек. Дельта Волги к тому же (знаменитый «коридор» между Уралом и Каспием, по которому вплоть до XV века из лона Азии в Европу изливались волны кочевников, и к тому же древнейший прямой торговый транзит, соединяющий все четыре стороны света) – одно из самых продувных мест истории, ее меловая доска, с которой каждая последующая волна переселенцев начисто стирала все предварительные наброски построения цивилизации, сделанные волной предыдущей. Дельта – неустанная в пробах творения – вот контекст, породивший Хлебникова.

В этом смысле значимо, что отец поэта, Владимир Алексеевич, был фактическим основателем Астраханского заповедника. То есть (постфактум) охранителем того всеобъемлющего контекста, с которого Хлебников считывал свой текст, изыскивая завещанные ему словесные клады. Благодаря этому, очутившись в заповеднике, еще и сегодня можно убедиться, что «времышы-камышы» – не поэтический изыск, а такая же реальность, как «старые ивы, покрытые рыжим ивовым волосом», «сонные черепахи», «красно-золотистые ужи» и весь этот странный край, «где дышит Африкой Россия». При этом Владимир Алексеевич не поощрял поэтических занятий сына и, видимо, до самой его смерти не понимал масштаба его дарования. Ни о каких «контекстах» он не думал. Он был позитивист, естествоиспытатель, редкостный знаток птиц. Как мы увидим, это тоже сыграло в судьбе поэта не последнюю роль...

II

Все летние передвижения мои оказались связанными с Волгой. От истока – ключа, открывающего путь волжской воде, – стремился любой ценой добраться до устья и впасть в море. Последнее не удалось, ибо даже за стенами тростника, за последней тростниковой крепью, где начинается открытый ветру-морю простор, вода еще не солонa (не море). Семь сот уст цедают воду сквозь фильтры отмелей и сплошных зарослей, протянувшихся по взморью на сто пятьдесят верст от Бахтемира (главного волжского рукава) до Бузана и Кигача, бесконечно дробящихся на протоки, ручьи и почти затянувшиеся тиной ерики. Пресной, зеленой, мутной остается вода еще километров тридцать-сорок, до свала глубин, где резко обрывается дельтовая отмель и сразу ощущается в воде соль. А до этого ни река, ни море – раскаты. То есть и не река уже – ибо без берегов – раскатилась, – но и не море тоже, только блещет волна по-морскому, но по-речному желта на просвет.

В нетронутой природе правомерно чувство вечности, потому было ощущение, что «совпал» с Хлебниковым в пространстве/времени. Был октябрь 1918-го, паровое судно «Почин». Хлебников и Рюрик Ивнев выходили на взморье осматривать облюбованный отцом Велимира под заповедник участок на Дамчике. Рано утром поэты вышли на палубу и в хрустальном холоде осветлевающей ночи увидели над головой... Звездный провал неба. Бездну. Миры. Может быть, самым ненарочным и важным совпадением было «чувство заморозженности», неподвижности, чувство «листа, застрявшего в тысячелетних камнях», которое охватило и меня в первую же ночь на острове, когда выходил курить на берег и под полной

луною видел и слышал напротив шуршащую живую стену тростника. Ну и, разумеется, принадлежали времени вечности птицы. Голубой быстрый огонь крыла зимородка, пронзающего воду и воздух и затхлую тень берегового куста. Белохвостый орлан, медленно шагнув с черной ветки обугленного пожаром дерева, сделав два-три мощных взмаха меж роскошными кулисами зелени над зеркальной водою, исчезает за ивою, оставляя тебя в лодке со счастливым ощущением, что ты следуешь древней, вольной и верной дорогой. Сам язык орнитологии – напряженный, подвижный, силящийся уловить оттенки признаков, отличающих одну пичугу от другой по цвету перьев, времени первой трели, излюбленным семечкам или по особым морфологическим различиям (орел, орлан, подорлик), сделавшись насущным, засверкал вдруг драгоценной россыпью названий. В «Списке птиц Астраханского края», составленном отцом Хлебникова, упомянут 341 вид птиц. Баклан, пеликан, чепура красная, кваква, колпица, савка, турпан, хархаль, выпь, пустельга, кречет, лунь, осоед, чеглок, сапсан, балобан, стриж, сыч, удод, филин, рябок копытка, горlinka, авдотка, дупель, бекас, ястреб... Фонетически это такое богатство, что близкий к колдовству, к выкапыванию древних корней и мертвых семян опыт создания поэтически разверстого во все стороны языка, предпринятый сыном, кажется совершенно естественной и, более того, само собою разумеющейся попыткой³. Только в том уникальной, что это попытка одинокого гения за краткое время своей жизни проделать ту титаническую работу, которую язык сам по себе, без поэта-алхимика, торопящегося ускорить «созревание» языка, проделывает за сотни лет благоприятного для себя развития. В Астрахани я побывал в музее Хлебникова. Так в руки мои попал еще один ключ, или даже связка ключей. Во всяком случае – право на вход. Пропуском к Председателю Земного Шара был билет в музей Департамента культуры Астраханской области. Запомнилась книга из библиотеки отца: G.F. Chambers, «The story of the stars». Основательнейший позитивистский фундамент удерживает на весу все самые фантастические проекты Хлебникова. Изменяется, быть может, лишь сам характер вовлеченности – поэт относится к звездам не с ученым интресом, а со священным трепетом, как индейцы-инки, полагая, что звездами вычерчены на небе судьбы грядущего. «Понять волю звезд – это значит развернуть перед глазами всех свиток истинной свободы. Они висят над нами слишком черной ночью, эти доски грядущих законов, и не в том ли путь... чтобы избавиться от проволоки правил между вечными звездами и слухом человечества...» Об отношениях Хлебникова с отцом известно, что они не были ровны и просты («родителями изгнан» – записывает он в дневнике 1914 года). Отец, несомненно, предполагал, что сын унаследует его дело ученого-натуралиста, орнитолога, и тот студентом как будто даже подавал надежды (экспедиция на Павдинский Камень Урала в 1906-м, большая коллекция чучел, привезенная им для Казанского университета, и написанная совместно с братом Александром статья в «Природу и охоту»), но впоследствии, видимо, отца разочаровал и, во всяком случае, надежд его не оправдал всем образом своей жизни и никому, конечно, из близких (кроме сестры Веры) не понятного творчества. Между тем он был сыном благодарным и прилежным учеником, что заметил еще Тынянов в предисловии к первому (и единственному полному) собранию сочинений Хлебникова: «Поэзия близка науке по методам – этому учит Хлебников. Она должна быть раскрыта, как наука, навстречу явлениям... Хлебников смотрит на вещи как на явления, взглядом ученого, проникающего в процесс и протекание... Он не коллекционер слов, не собственник, не эпатирующий ловкач. Он, как ученый, переоценивает языковые измерения...» Нет сомнения, что Гений Языка должен был явиться именно здесь, в русской столице татарского ханства, в перекрестье кочевых и караванных дорог, фантастической геологии (аммониты – дно древнего моря – плиты известняка, органика и лесс дельты, пески, грязи,

³ Более того, некоторые неологизмы из рукописей Хлебникова, в свою очередь, фонетически очень напоминают названия птиц: блазунья, блуждянка, богаш, богва, братуга, грезняк, грезютка, грозок.

лидийский камень, кристаллическая соль) и столь же фантастической ботаники и орнитологии, на границе земли-воды-неба, реки-моря, Старой Волги и Камызяка, Черных Земель и песков Сулгази, Европы и Азии, православия, принесенного ратью царя московского, буддизма калмыков и казахского степного магометанства, замешенного на верблюжьем молоке, наваристом, с молоком, чае, на блинчиках с бараньими потрошками и жареном боку пудового сазана. В любом столичном городе ничего, кроме зауми, не вышло бы из языковой алхимии (и не вышло). Здесь же алхимия – имманентное свойство окружающего – кристаллизация не произошла и произойти не может, ветер дует из Персии, из Китая, из Индии, из Европы, море наступает и отступает, волны кочевников проносятся, словно стаи птиц, водоросли набухают и умирают в зеленом котле дельты, пульсация безостановочна, творение непрерывно... «В деревне, около рек и лесов до сих пор язык творится каждое мгновение, создавая слова, которые то умирают, то получают право на жизнь...» – так ощущал это Хлебников. В изданном не так давно в Вене «Словаре неологизмов» Хлебникова 6130 слов. По какой-то непонятной причине в нем нет слова «Лебедия», объемлющего своеобразным смыслом мир волжской дельты, в который так по-разному и так самозабвенно были влюблены отец и сын, естествоиспытатель и поэт. Парадокс же, отмыкающийся ключом к родовому гнезду, ныне музею, заключается в том, что именно отец (не одобрявший, повторимся, литературных занятий сына) наделил его талант тем смертельно опасным и не поддающимся подражанию свойством, которое еще при жизни не позволило Хлебникову «войти» в литературу, ибо унаследованный от отца естественно-научный взгляд на мир и метод постижения мира, будучи примененным в поэзии сыном, человеком необычайно тонкого поэтического слуха и чувствования, и пылким романтиком к тому же, превращался в опыт совершенно запредельного исследования, которое ни тогда, ни теперь, ни когда-либо впредь невозможно было (будет) втиснуть в рамки обычного литературного «сочинительства».

III

Лишь на заповедном острове, где неприкосновенность природы создает иллюзию замороженного хронотопа, могло возникнуть ощущение «совпадения» с Хлебниковым в пространстве/времени. Оно волшебное, но обманчиво. Потому что Хлебников выламывается из любого времени. Тем более из нашего. Это его несчастливое свойство отметил еще Николай Степанов, вместе с Юрием Тыняновым работавший над составлением полного свода творений поэта. «Он слишком опередил свое время, чтобы оставаться в его пределах. Поэтому он гораздо ближе прошлому или будущему», – осторожно написал он в 1928 году. Но вряд ли и сегодня можно сказать, что Хлебников ближе и понятнее нам, нежели в то время, когда эти строки были написаны. Напротив, он почти позабыт, хотя признание, что он великий поэт, стало общим местом. Сама эпоха, породившая его (а это предреволюционная и революционная эпоха), так отдалилась от нас по ценностным ориентирам (можно сказать, что нынешнее общество находится в противофазе ей), что самый образ Хлебникова-поэта, который есть такое же достояние его поэзии, как и уловленное поэтом Слово, вряд ли обладает какой-то особой привлекательностью для современной читающей и пишущей публики. Ну, кто примет сегодня всерьез Будетлянина (человека будущего, познавшего законы времени), поэта-язычника, поэта-дервиша, курящего опий в чайхане, анархистствующего политрука с замашками сумасшедшего или пророка? Кто примет всерьез человека, похожего на бомжа, когда поэтической максимой современности стал преуспевающий литератор, работающий по контракту с престижным издательством? Только в темных подвалах и пустующих мансардах, где никому еще не ведомая молодежь оттачивает словесное оружие для грядущего мятежа против торжествующего убожества, можно надеяться найти том его «Творений». Может быть, будущее Хлебникова не за горами и родственная ему аудитория вот-вот

явится на жизненной арене, пока что созревая для очередной «Пощечины общественному вкусу». Но ведь Хлебников не был понят и своим поколением! В конце жизни для многих, считавшихся прежде его единомышленниками и друзьями, он оказался чрезмерен и невыносим: недаром 37-летний поэт добровольно отступил в среду молодых художников, для которых неуемный дух творения, вместилищем которого он был, оказался достоинством несравненно большим, чем очевидная для его повзрослевших «друзей» социальная несуразность, несоразмерность его гения постреволюционному духовному (да и бытийному) пространству еще в большей, может быть, степени, чем предреволюционному...

До революции его образ эстетствующего нигилиста, работающего над претворением сырой материи повседневного языка в поэтически-взрывчатое вещество, – тот образ, который запечатлен известной фотографией 1912 года (В. Хлебников, С. Долинский, Г. Кузьмин, В. Маяковский) или не менее известной фотографией того же года с Бурлюками, – исполнен обаяния и, конечно, еще послужит стихослагающему юношеству примером для подражания. На этих снимках он – интеллектуал, теоретик (Маяковский – бомбист, практик) новой поэзии.

А поздний Хлебников неподражаем. Ибо дорожка, на которую он ступил, оказалась путем пророка, и ничего, кроме внезапных озарений, поверхностного восхищения окружающих и их все более глубокого непонимания, хулы, унижений, голода, забытости и преждевременной гибели, в конце на этом пути быть не могло. Некоторые подробности его быта времен Гражданской войны просто ужасающи. В 1919 году в Харькове Хлебников жил в крохотной холодной комнатке, без света. Ходил «заросший, одетый в отрепья, без шапки, часто лежал по больницам, перенес два тифа, две тюрьмы (и белые, и красные принимали его за шпиона, т.к. он не имел документов)...», и не расстреляли, должно быть, только потому, что в конце концов знакомый врач пристроил его в сумасшедший дом «пересидеть» лихое время.

Летом 1921 года лектором политотдела РККА (со своим знаменитым grossбухом, вмещавшим полное собрание его поздних сочинений, и томом Кропоткина) Хлебников оказывается участником персидского похода Красной армии. «Покровительствовавший» ему штабной деятель присвоил себе полагавшееся поэту армейское жалованье, из-за чего Хлебников вынужден был продать на базаре сюртук, в котором приехал из Баку. «Без сюртука, без шапки, без сапог, в мешковой рубаше и таких же штанах, надетых на голое тело, он имел вид оборванца... Однако длинные волосы, одухотворенность лица и вид человека не от мира сего привели к тому, что персы дали ему кличку дервиш-урус» (то есть русский дервиш, странствующий искатель Бога).

Маяковский, когда-то соседствовавший с Хлебниковым на одной фотографии, из Гражданской войны вышел совершенно определившимся человеком: не просто революционным поэтом, но поэтом партийным, идейным большевиком, безоговорочно принявшим ангажемент власти и, таким образом, совершившим невиданный в поэзии социальный переворот. Впервые в его лице русская поэзия становилась на службу государству, отринув все частные, «личные» задачи, да и саму личность поэта. Лицо Хлебникова тоже вполне сложилось. Он закончил Гражданскую поэмой «Труба Гуль-муллы» (Гуль-мулла – священник цветов). Его поэтическая работа, безусловно, связана с революцией, он одержим с нею одним духом – ускоренной трансформации застывших форм (только не социальных, а поэтических), он охвачен творением нового языка и разработкой науки о времени, он не замечает Совнаркома Ленина и набирает каких-то отщепенцев в Правительство Земного Шара, его социальные утопии по наивности превосходят, вероятно, все сочинения, когда-либо созданные на почве утопизма, но в них, по крайней мере, нет ни капли доктринерства, они кажутся фантазиями ребенка... Он – не социальный революционер, он продолжает свое беспрецедентное поэтическое исследование мира и языка на уровне энергий – не случаен его призыв покон-

чить с двухтысячелетним языком римского права (*Lex romana*) во имя прямого общения при помощи «лучей»...

Поэтически он окончательно локализуется в своей пространственной системе координат, бродит вокруг Каспия (Астрахань – Баку – Иран), провидит Азию, пытается прорубить поэтическое окно в Азию, прорубает – и захлебывается потоком хлынувших на него образов и созвучий, которые, входя в его стих, все более приближают его к «волшебной речи», управляющей «сердцем нежных». Ок! Ок! Очана! Мочана! Он невольно, но неизбежно входит в глубочайшее противоречие с требованиями поэтического «момента», продолжая покоиться во времени вечности, и искренне не понимает обращенных к нему упреков: «Говорят, что стихи должны быть понятны... Стихи могут быть понятными, могут быть непонятными, но должны быть хороши, должны быть истовенными... Речь высшего разума, даже непонятная, какими-то семенами падает в чернозем духа и позднее загадочными путями дает свои всходы...» В конце 1921 года с такими вот убеждениями, исполненный энергии и светлого ощущения огромности проделанной работы, Хлебников приезжает в Москву, полагая, что пришла пора издать написанные им в годы войны главные вещи и поделиться с людьми своими прозрениями. И идет, разумеется, к Маяковскому. Гуль-мулла идет к Ленину. То, что происходит между ними, похоже, видимо, на короткое замыкание, после чего Хлебников предписывает друзьям ни при каких обстоятельствах не обращаться к «Маяковскому и компании». Он сталкивается с реальностью «актуального момента», чувствует засаду, хочет отступить под охраняющее его звездное степное небо, небо вечности, но не успевает – его настигает смерть.

IV

Птичий символизм Хлебникова, равно как и попытки его создать «заумный» или «звездный» язык (который был бы языком высшего общения на уровне энергий), первым делом, разумеется, заставляют нас вспомнить о разветвленной птичьей символике древней персидской поэзии, и в частности, о «языке птиц», говорить на котором обретают способность просветленные. Ряд исследователей суфийской поэзии истолковывают сам термин «птичий язык» прежде всего как ритмизированную, боговдохновенную речь, иногда – как эзотерический язык высокой поэзии, непонятный непосвященным.

Сильнейшее влияние персидской поэзии на Хлебникова очевидно. Оно очевидно в самом образе поэта-дервиша, который стал последним «самоистолкованием» Хлебникова, и в завораживающей его магии букв и чисел («слова суть лишь слышимые числа нашего бытия»), и в разработке «звездного языка», к которой Хлебникова побуждали мотивы, в самом деле *сходные* с теми, что за семь веков до него побудили исламских мистиков разработать *балабайлан* – тайный поэтический язык, не более понятный непосвященным, чем хлебниковское *бобэоби*. Но самое главное – с мистической поэзией Востока роднило его отношение к слову как к высшей манифестации если не Бога, то мира⁴. В этом он совершенно

^{4 2} В случае Хлебникова слова «мир» и «Бог» можно считать тождественными. Одно размышление замечательного исследователя личности и творчества Хлебникова Р.В. Дуганова особенно существенно в этом контексте: «Астрономические и математические аналогии в учении [Хлебникова] о слове, разумеется, не случайны. Астрономия и математика или, вернее сказать, космология была моделью для хлебниковской теории слова, где космос слова мыслится вполне подобным космосу мира. Слово есть выражение мира, и поэтому оно не просто рассказывает о мире, но и самой своей структурой изображает мир, оно изоморфно миру. Слово, собственно, и есть сам мир с точки зрения его осмысленного выражения. Но что такое этот бесконечный, разнообразный и единый мир, включающий в себя и человека, и общество, и природу, содержащий в себе все, что было, и все, что будет, и все, что только можно вообразить; что такое этот мир, понятый, осмысленный и выраженный в слове? Очевидно, это и есть не что иное, как миф. И такое “чистое”, “самовитое”, абсолютное слово есть слово мифопоэтическое. [Оно]... является выражением единства и полноты мира. И поэтому-то всякое художественное произведение принципиально содержит теперь все и раскрывается, как принципиальная бесконечность.

подобен хуруфитам, полагавшим слова творениями Бога и изощренно пытавшимся, исходя из числовых значений букв, выстроить свод предсказаний обо всем что было, есть и будет, на основании коранических текстов. Хлебников делал то же самое, с тою лишь разницей, что, предаваясь самой злостной числовой магии, он не основывал ее на Священном Гисании...

Устремившись от сокрытого в самом сердце России своего истока, Волга, преодолев колоссальные пространства, пробив русло сквозь толщи разноплеменных культур, изливается наконец в Каспий, и вместе с нею изливается в Каспий и поэт, которого сразу же влечет к чрезвычайно поэтически намагниченному противоположному берегу.

Притяжение Персии подтверждается и участием Хлебникова в походе на Тегеран, и огромным количеством смысловых и образных совпадений его с древними персидскими поэтами. Такое влечение к *иному* испытывали многие крупные художники, и «совпадения» эти ничуть не были бы удивительными, если бы Хлебников владел восточными языками и читал персидскую поэзию в подлинниках. Но нам точно известно, что восточными языками Хлебников не владел, а на русский язык в его время были переведены лишь считанные тексты классической персидской поэзии. И вообще, лишь немногие поэты были известны.

Известно, что он был знаком с произведениями Низами (1141—1209), французским переводом поэмы которого «Искандер-намэ» он пользовался, разрабатывая сюжет «Детей выдры». Сложная система культурных отражений донесла до него и другую поэму Низами – «Лейли и Меджнун», примечательную выведенным в ней образом поэта, обезумевшего от любви, который бродит по пустыням, бормоча стихи во славу возлюбленной.

Число доступных Хлебникову суфийских поэтических текстов было, однако, столь невелико, а «намагниченность» поэта Востоком столь сильна, словно он не только читал все, что было переведено спустя несколько десятилетий после его смерти (сочинения Низами, например, были переведены на русский только в 1940—1959 годах), но и то, что не переведено до сих пор, в том числе и такие необходимые в контексте нашего разговора произведения, как «Беседа птиц» Аттара и «Трактат о птицах» Газали. Причем читал в издании, снабженном полновесным комментарием, содержащим сведения о суфийских мистических поэтах и знания о метафорических кодах, необходимых для понимания «многослойности» их поэзии. Но ведь никаких подобных справочников не было у Хлебникова под рукою! Книги Рене Генона и Аннемари Шиммель об исламском мистицизме не только не были еще переведены на русский язык, но и не были еще написаны; их авторы еще не начали даже свои исследования! А Хлебников периодами пишет так, словно находится *внутри* традиции, словно некое тайное поэтическое завещание он получил от самого Фаридуддина Аттара и не нуждается ни в каких культурологических реконструкциях...

Среди суфиев было распространено представление о возможности инициации (посвящения) от невидимого учителя или давно умершего святого. В этом смысле чрезвычайно соблазнительно, конечно, связать имя Хлебникова с именем Аттара, автора «Беседы птиц», хотя Хлебников, возможно, даже не знал о его существовании.

Фаридуддин Аттар принадлежал к числу поэтов-мистиков, которых поздняя традиция причисляла к мученикам любви, ставшим жертвами жестоких правителей или неверных за свою чрезмерную любовь к Богу. На самом деле Аттар, скорее всего, не погиб, а умер своею смертью в достаточно преклонном возрасте в 1220 году, когда монголы пришли в Иран. Но его мистицизм и его слово были действительно «истовенными» (как сказал бы Хлебников).

В противоположность Блоку и Маяковскому Хлебников берет мир в его первозданной цельности, предшествующей всякому становлению и всякой завершенной разделенности, мир в его изначальном (или, что то же, в окончательном) всеобщем единстве. Это воображаемый, представляемый, потенциально-возможный, энергично-смысловой мир» (Дуганов Р.В. Велимир Хлебников. Природа творчества. М., 1990). «Мы... не разнотествуем с богом до миротворения», – простодушно признавался Хлебников.

Своим учителем Аттар считал ал-Халладжа, казненного за суфийскую ересь по требованию властей и высших слоев общества. Ал-Халладж называл себя избранным и «возлюбленным» Бога, что было истолковано как неслыханная дерзость. После казни он явился Аттару во сне, чтобы раскрыть тайну святости: мистик-мученик являет собой живой укор миру; «его существование оскорбляет тиранов, его смерть приводит в содрогание палачей, его канонизация – победа веры, любви и надежды».

Внешняя жизнь Аттара ничем как будто не подтверждала, что он близко к сердцу принял завет учителя. Он по-прежнему сидел в своей лавке, выслушивая разные истории от людей, лечил их (само прозвище «Аттар» означает «продавец благовоний»), но сочинения его с годами становятся все более истовыми. Он утверждает, что понимает язык птиц и цветов, и силится выразить это томление безъязыкой материи, неспособной возгласить хвалу Господу; цепи поэтических повторов в его сочинениях становятся все более длинными; «Аттар часто впадает в экстаз и пытается выразить Божественные тайны путем длинных цепочек повторяющихся восклицаний или других слов⁵; опьянение уводит его от логического построения повествования». Характерно, что герой его поэмы «Уштур-намэ» – кукольник – кончает жизнь самоубийством в божественном экстазе.

Аттар работает со словом как маг, достигая трансовых состояний; произносит *непонятные* слова; ломает логику линейного повествования – все это, по внешней видимости, чрезвычайно роднит его с Хлебниковым. Мало того, он увлечен числовой и буквенной магией, он, как Хлебников, вращает и мнет буквы, показывая, как из *алифа* (первой буквы арабского алфавита) при изгибании появляется *дал* (д), а при заворачивании *алифа* в подкову – *нун* (н).

Что действительно роднит Хлебникова с Аттаром, так это неистовый поэтический темперамент. Но опыты со словом, проводимые тем и другим, вписаны в совершенно различные культурные контексты и, следовательно, имеют совершенно различные *смысл и результат*.

Аттар был прежде всего религиозным мистиком, поэзия для него – лишь средство постижения Бога, средство движения по Пути. Как мистик, Аттар разрабатывал интереснейшие, парадоксальные понятия суфийского религиозного опыта: «фана» – исчезновения верующего в божественном присутствии и «бака» – Черного Света, который озаряет отчаявшегося во тьме блуждания в поисках Бога.

Аттару принадлежит один из наиболее ярких поэтических образов, передающих опыт «фана» и «бака»: Божественная сущность уподоблена им соляной шахте, в которую проваливается осел. Погибнув и напиваясь солью, осел теряет все свои низменные качества и постепенно сам целиком превращается в божественную соль.

Однако подробнее всего разработана Аттаром концепция Пути. Ему принадлежат прекрасные строки:

Словно дождевое облако над океаном,
отправляйся в путь,
Ибо без путешествия ты никогда
не станешь мужчиной!

Собственно, и поэма «Мантук ат-тайр» («Беседа птиц») есть не что иное, как аллегорическое повествование о странствованиях души (уравнение птица=душа обще для многих культур) через семь долин к познанию высшей реальности. В конце поэмы тридцать птиц Аттара, отправившиеся на поиски царя птиц Симурга, понимают наконец, что сами они – си мург («тридцать птиц») – и есть Тот, кого они искали. «Это один из самых оригинальных

⁵ Как не вспомнить «Очана!» «Мочана!» и «Ок! Ок!» Хлебникова?

каламбуров в персидской литературе, превосходно выражающий тождество души с Божественной сущностью».

Примечательно, что к сочинению поэмы Аттара подтолкнула написанная веком раньше аллегория Сана,и, называвшаяся «Путешествие рабов к месту своего возвращения».

Нет сомнения, что ничего этого Хлебников не знал. Потому что в противном случае, скорее всего, не обошел бы вниманием такой роскошный сюжет, никоим образом еще русской словесностью не отраженный. Поэма Аттара, повторимся, не переведена на русский язык до сих пор, хотя достоверно, что, по крайней мере, в тридцатые годы сюжетная канва ее становится известной в России как *восточная легенда*.

Важнее всего, пожалуй, то, что Хлебников не разделял мистическую концепцию Пути.

Хлебников, несомненно, был мистиком – но мистиком именно в том смысле слова, который оно приобрело в России в начале XX века; как и все русское общество, он погружен был в тот расплывчатый мистицизм, который есть свидетельство скорее алкания, нежели наполненности, скорее предчувствия, догадки, нежели истинной и целенаправленной практики веры.

Аскет и человек «не от мира сего», Хлебников в иное время мог бы стать большим религиозным подвижником. Нет сомнения, что его участие в персидском походе объясняется страстным желанием узреть воочию страну соловья и розы и приобщиться к тому типу святости, который воплощали собою «влюбленные поэты» – суфии (святость поэта, собственно, подразумевается только суфийской мистической традицией). И, как мы знаем, он находит себе подходящий образ: Гуль-муллы, священника цветов. Но он – человек нового мира. Он – Председатель Земного Шара, он – пророк. Он пришел в мир, чтобы возвестить новые истины, а не для того, чтобы, как раб, смиренно пройти по Пути к месту своего возвращения. Потому, даже войдя в образ поэта-дервиша, он так и не постигает глубокого символизма персидской поэзии. Поэтому его «птичья» символика остается недоработанной – или, если угодно сказать по-другому, – естественно-научной. Безусловно, и для него птицы – посланцы и носители языка, который вживлен в его тексты наравне с человеческими речами («“Беботеу вевять”, – славка запела»). Но, возвещая, он не слушает. Не слыша – не понимает.

Отношение Хлебникова к «птичьему языку» совершенно определено в его программной «сверхповести» «Зангези», написанной в 1920—1922 годах и посвященной, собственно, демонстрации всех тех возможностей, которые открыла Хлебникову бесстрашная работа со стихиями языка. Примечательно, что «повесть» открывают птицы, предвосхищающие появление богов.

Голоса птиц переданы с предельно возможной на письме точностью:

Овсяночка (спокойная, на вершине орешника): Кри-ти-ти-ти – цы-цы-цы-сссы.

Дубровник: Вьер-вьёр виру сьек сьек сьек! Вэр вэр виру сек-сек-сек!

Больше того, когда боги появляются, они сами начинают изъясняться на языке непонятной человеку природы, так что предваряющие их появление птичьи трели можно, конечно, истолковывать как язык серафический. Однако речи богов менее благозвучны, нежели язык птиц: «Мара-рома, Биба-буль! Укс, куks, эль!», и только темны, только непонятны в сравнении с тем, что возвещает потом Зангези – маг, овладевший революционными стихиями языка, маг, понявший, как посредством энергий языка творится история и держится мироздание. Вспугнутые «благовестом ума» и проповедью Зангези, боги покидают повествование, унося с собою и свой божественный клекот. Высшая форма языка – это тот самый «Звездный язык», который Зангези возвещает людям...

Поэтому мы не слишком погрешим против истины, сказав, что на пернатый мир Хлебников смотрит глазами отца-орнитолога. Хотя сам тот факт, что трель славки постоянно вклинивается в слух Гуль-муллы, свидетельствует о том, что образ поэта-дервиша не был простой этикеткой, которую Хлебников вывез из Ирана, как наклейку на туристском чемо-

дане⁶. Напротив, то была самоотверженная *попытка* войти в иную поэтическую роль. Хлебников многое почувствовал, многое еще хотел понять. Многого не смог и не мог.

Как человек своего времени, он в самых дерзновенных поэтических опытах – естественно-научен. Метод, которым он оперировал, стал для него главным препятствием для мощного вруба в смысл персидской мистической поэзии. И несмотря на то, что многие его изыскания в слове действительно похожи на изыскания поэтов-суфиев, их отношение друг к другу можно представить как отношение квадратного корня из – 1 (мнимого числа, выдуманного Хлебниковым, чтобы «отвергнуть прошлое» и освободиться от власти вещей) к 1. Почему «тополь весеннего Корана» превращается у Хлебникова не в насест для скворцов, возвещающих благую весть на своем птичьем наречии, а в невод, закинутый в «синюю тоню» неба.

Правда, для ловли Бога.

В этом – превратность метода Хлебникова. Но и – неповторимость всей его поэзии, черт побери!

V

Заряжая свежую пленку в фотоаппарат, я сделал положенные три контрольных спуска и так случайно уловил в объектив цвет земли Азии: желтый с голубым. Табачные листья, высыхая на вешалах, приобретают цвет глины, которой обмазаны (с примесью золы) стены тростниковых построек аула, бурый, с желтыми и тускло-зелеными прожилками цвет бескрайней степи, цвет сухого кизяка, которым топится печь во дворе, курясь струйкой терпкого дыма. Череп коровы белеет на изгороди; девушка с лицом терракотового цвета с охапкой желтых прожилковатых листьев в густом аромате сушильни; пресс, спрессованные, словно сланцы, листья табака – будто плиты, вырубленные из палящего времени... У Хлебникова та же цветовая гамма передана двумя строками:

Как скатерть желтая был гол
От бури синей сирый край...

Поэт еще и потому обречен был на непонимание, что не только по времени «не совпадает» с современной ему русской словесностью, но и выходит за ее пределы чисто географически. В 1913-м им написана короткая интересная статья о географии русской литературы. Хлебников говорит о том, что огромные пространства России так и остались не затронутыми словесностью, неозвученными, образно не проработанными – «воспет Кавказ, но не Сибирь с Амуром» – равно как и Волга, и Азия. Оказавшись первопроходцем литературы в Астраханском крае, он пытается создать формы и язык, адекватные контексту, дробящемуся изумительными орнаментами природных и языковых форм, контексту, в котором прошлое напоминает о себе целыми караванами призраков, а настоящее порой похоже на сказку. И он такой язык создает. Например, повесть «Есир» есть совершенно точный образный слепок с пространства/времени дельты. Каждая деталь в ней существенна и точна, пейзажи фотографически выразительны, слова – даже если кажется, что употребление их необязательно или нарочито, – на деле оказываются совершенно укорененными в контекст, связанными с ним

⁶ Важна мысль Р. Генона: обретение способности понимать язык птиц или говорить на нем «равнозначно возврату в центр человеческого существа, то есть в ту точку, откуда осуществляется его связь с высшими состояниями бытия. Именно эту связь и символизирует язык птиц, ибо птицы, в свою очередь, зачастую служат символами ангелов, то есть самих этих высших состояний. В свое время мы уже вспоминали евангельскую притчу, где именно в этом смысле говорится о “птицах небесных”, севших на ветви древа, того древа, которое знаменует собою ось, проходящую через центр каждого состояния бытия и связующую между собою все эти состояния» (Генон Р. Язык птиц // Символы священной науки. М., 1997).

тысячами ассоциативных нитей и древней историей... Он говорил на языке, совершенно адекватном тому, что ему открывалось. Но, поскольку то, что ему открывалось, никому не было ведомо, его никто не понимал. Что значит для жителя Москвы или Петербурга слово «моряна»? Ничего. Неясно даже, что это – самородок или очередной неологизм Хлебникова. А в дельте это слово звучит весомо и конкретно, и грозно даже, как и должно звучать ветру с моря. «Задует моряна – навалит птицы...»

При всем этом Хлебников еще осознанно противится только-русскости взгляда на мир: «мозг земли не может быть только великорусским». Он требует «материковости сознания», подключенности его к культурным и мифологическим традициям других народов. Если учесть, что и помимо этих требований Астрахань начала века представляла из себя настоящий этнический и языковой котел, где булькало невиданное словесное варево и многие восточные слова ходили наравне с русскими, без перевода (во времена Хлебникова, например, матросы на частных судах еще назывались по-персидски музурами, зимние бураны – по-татарски – шурганами, и даже названия некоторых птиц имели восточный «дубликат»), то уже не покажется странным, почему разработка золотой жилы литературоведения «русские поэты и Восток» немыслима в обход такой глыбы, как Хлебников. Он словно пытается все богатство окружающего его языкового контекста использовать в поэзии, сделать достоянием литературы. Через него говорят и не знающие письменности кочевники, и жрецы замеченных песком городов. Лингвистические свидетельства Хлебникова так же достоверны, как находки археологов. До него лишь один человек, пораженный огромностью горизонта, распахнувшегося для него за Волгой, предпринял схожую попытку: заговорить на всех языках сразу или, по крайней мере, составить подробный их реестр. То был немец Петр Симон Паллас, волею императрицы Екатерины II ставший великим русским путешественником и помимо атласа растительности Российской империи и описания своих почти фантастических странствований издавший «сравнительные словари всех языков и наречий», собранных десницею всевысочайшей самодержицы. Хлебников пошел дальше, начав активно использовать все богатства оказавшегося под властью России языкового и образного материка...

VI

Мысль, что великий «изобретатель» Хлебников, «путеец» новой поэзии, первооткрыватель законов времени, создатель заумного и звездного языка, на самом деле ничего не придумывал, а был, как и всякий поэт, лишь дудкой Бога, пожелавшего срезать тростинку в дельте Волги и сделать из нее (из него) себе свирель, слишком прямолинейна, чтобы объяснить такое явление, как Хлебников. Но она стоит и размышлений. По сути, весь этот материал – не что иное, как попытка «вывести» поэта из того контекста, который однажды ночью вдруг сам собою «раскрылся» хлебниковскими строчками. Субъективизм этой попытки очевиден, но очевиден и субъективный результат: незнакомое доселе пространство вдруг распахнулось для меня, как огромная поэтическая сокровищница, и в каких-то важных своих чертах сделалось вдруг понятным благодаря образным кодам, которые подобрал к нему Хлебников. Да и сам поэт, том которого несколько лет простоял на книжной полке в неприкосновенности, вдруг сделался остро актуален, как проводник по этому пространству, как маг, знающий все о сгустках его энергий и законах его времени.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.